

АЛЕКСЕЙ МАНАЕВ

## ЛИТЕРАТУРА, НАПИСАННАЯ КРОВЬЮ

*О поэзии Юлии Друниной и документальной прозе Светланы Алексиевич*

Поэтесса Юлия Друнина и литератор Светлана Алексиевич – авторы книг о Великой Отечественной войне, 75-летие Победы в которой мы с гордостью отмечаем. Они – антиподы. В публичную полемику не вступали, печать для выяснения отношений не использовали и не вели себя на литературном поприще подобно двум персонажам, живущим в коммунальной квартире и отстаивающим свои приоритеты на кухне. Но события военных лет представляли по-разному не столько потому, что одна писала стихи, а другая – документальную прозу, сколько потому, что их творчество несовместимо по их мировоззрению. И на этом литературном поле, а значит – на поле гражданственности они вступали в схватку каждый день, каждый час. Схватка длилась десятилетиями, продолжается она и сейчас.

### **Перепляс на минном поле**

Драматизм схватки обусловлен тем, что одна из участниц, Юлия Друнина, была на фронте. Каждое событие пропущено через её сердце, за каждый неверный шаг она расплачивалась кровью.

Уже в день объявления войны, 22 июня 1941 года, Друнина, родившаяся в интеллигентной столичной семье, оказалась на призывном пункте. Её пыл, естественно, охладили, сказав, что боевые действия – не красочные горские танцы с саблями и что шестнадцатилетней девчужке там делать нечего. Но девчужку отказ не успокоил, не утихомирил. Она записалась в добровольную санитарную дружину, оказывала помощь раненым в глазном госпитале. Девичий эликсир был действеннее иных лекарств. Рассказывала в автобиографической повести “С тех высот”, что в палате с ранеными выбрала самого тяжёлого – жестоко обожжённого танкиста с повязкой на глазах: ему грозила полная слепота и ампутация рук и ног.

Танкист отказывался от еды и от лечения. Не сразу, конечно, но всё-таки юной Юле удалось пробиться сквозь глухую стену предельного человеческого отчаяния. Была очень счастлива, когда подопечный проглотил первую ложечку супа. Есть соглашался только из её рук.

Вся палата следила за военно-госпитальным романом с величайшим сочувствием и добродушно над ней подшучивала: “Невеста пришла, Вася!” А Вася всерьёз принял эту шутку. Стал говорить о том, как покажет свою

спасительницу родителям. Юлия понимала, что подобная иллюзия помогает ему выкарабкаться, и охотно играла роль невесты.

Каково же было разочарование украинского хлопца, когда с его глаз сняли повязку (часть зрения удалось сохранить), и вместо “гарной дивчины” он увидел тощего нескладного заморыша...

Затем Юлия Друнина участвовала в строительстве оборонительных сооружений в Можайском районе Подмосковья. Во время жестокого артиллерийско-миномётного налёта девушка отстала от отряда и была “подобрана” пехотой, которая нуждалась в санитарке. Попали в окружение. 13 суток пробирались к своим по тылам противника. После долгих поисков лазейки девять оставшихся в живых “окруженцев” вышли к минному полю.

Друнина так пишет об этом: “В лёгких начинающихся сумерках комбат некоторое время внимательно разглядывал запорошенную первым ранним снегом землю, потом решительно шагнул вперёд. Мы замерли, кто-то бросился в кустарник и упал ничком.

Комбат сделал ещё два осторожных шага, потом вдруг... стал приплясывать на месте. У меня оборвалось сердце – свихнулся человек. Все замерли, ожидая взрыва. А комбат сказал вполголоса, очень буднично: “Всё в порядке, ребята. Мины-то противотанковые. Для них вес человека – что вес мыши... Подождём ещё полчаса, пока стемнеет, и айда к нашим”.

Мы отдохнули немножко в кустах, договорились о порядке перехода через нейтралку. Я должна была идти посередине, комбат замыкающим. Первому был дан наказ окликнуть своих на “чисто русском” языке, а то ещё подстрелят.

Всё было спокойно, мы пошли в полный рост. Сначала спотыкались о мины, потом минное поле кончилось, земля стала гладкой. Наш передний край молчал.

И когда мы считали себя уже в полной безопасности, немец бросил мину, – может, и случайную.

Она разорвалась почти посередине нашей цепочки. Те, что шли впереди, остались без единой царапины. Три человека, в их числе комбат, были убиты наповал...”.

После тяжелейшего испытания Друнина вернулась в Москву. Осенью 1941 года вместе со спецшколой Военно-воздушных сил, в которой преподавал больной отец, была эвакуирована в Сибирь, в посёлок (ныне город) Заводоуковск Тюменской области. Согласилась на далёкое путешествие только из-за необходимости ухаживать за отцом, перенесшим инсульт. Здесь она тоже не сидела сложа руки. Для того чтобы избежать волокиты, письмом с просьбой отправить на фронт послала на имя Верховного Главнокомандующего. Ответ пришёл из районного, Ялуторовского, военкомата. В нём сообщалось, что “без особого указания женщин в армию не призывают”.

Но сдаваться Юля не собиралась. Поступила на вечерние двухмесячные курсы медсестёр, организованные при эвакогоспитале, и одновременно работала кассиром на молокозаводе, валила лес. При этом каждый день думала о фронте. Однажды даже явилась в Ялуторовский райвоенкомат лично. Добраться туда можно было только пешком, по шпалам, оттопав двадцать с лишним километров, – обычно в Заводоуковске не останавливались никакие составы.

Поход был успешным. Девушку направили в Хабаровск, в школу младших авиационных специалистов. Вскоре выяснилось, что курсанты будут охранять дальневосточные рубежи. Друнина с этим решением не смирилась. К тому времени ушёл из жизни отец, теперь ничто не мешало действовать. Она выбиралась из Сибири с такой настойчивостью, с какой узник, приговорённый к смертной казни, совершает побег. Как каторжанка, тайно покинувшая сибирскую землю, добралась-таки до Москвы и оказалась на фронте. В Белоруссии, в пехоте, санинструктором.

Воевать долго не пришлось: в 19 лет тяжёлое ранение – осколок прошёл в двух миллиметрах от сонной артерии – привело в госпиталь. Ей уже было выписали инвалидность и запрет на окопную жизнь, но девушка с таким пессимистическим приговором не смирилась и вновь правдами и неправдами добилась того, чтобы её направили в действующую армию. На этот раз санинструктором в самоходный артполк, вместе с которым освобождала Прибалтику. Под Ригой была контужена. В ноябре 1944 года старшину медицинской

службы, к тому времени заслужившую медаль “За отвагу” и орден Красной Звезды, признали инвалидом. А дальше – жизнь на гражданке. Учёба в Литинституте, семья, писательские заботы, удушающий, хоть и столичный, но нелюбимый быт...

Столь подробно напоминаю о перипетиях судьбы Друниной, чтобы показать: на фронт рвалась не девочка в розовых романтических очках. Она хорошо знала, куда шла и на что шла, не раз смотрела в глаза окопному лиху, где слово “смерть” звучало, пожалуй, чаще, чем слово “жизнь”. Согласен: так поступали сотни тысяч женщин, девушек, девчонок. Но тогда поставим вопрос по-другому: а скольким из них удалось взять поэтическую высоту, которую взяла Друнина, всю Великую Отечественную стоявшая на краю бездны? Анна Ахматова, Ольга Берггольц и некоторые другие известные поэтессы, писавшие на фронтовые темы, не в счёт. На поэтический Олимп они поднялись до войны, были либо далеко от фронта, либо уже работали в писательско-журналистском цеху. Я имею в виду тех, кого учила поэзии война, окопы, ежедневная схватка жизни со смертью. И получается, что очень уж ошибаются её молодые либеральные коллеги, когда утверждают: ну да, в сравнении с нынешним моментом Друнина колосс, а вот на фоне декораций того времени... И на фоне “декораций” того времени – тоже колосс! А как иначе? Если верно, что во время Великой Отечественной войны в Красную армию было призвано около миллиона женщин, то выходит масштабное полотно: из миллиона – одна! Редкость, величина! И она одна заговорила от имени целой армии женщин-фронтовиков, на себе испытывших, что такое фунт военного лиха. Да ещё как заговорила! Недавно провёл эксперимент: выписал имена десятка поэтов, в своё время гремевших современников Друниной, и в рядовой московской библиотеке попытался выяснить спрос на их книги. Спроса почти не было. Сборник стихов Друниной оказался один – “Не бывает любви несчастной”, изданный аж в 1977 году. Очередной формуляр её, заведенный в 2016 году, заполнен до предела. Читают! Кто-то из поклонниц написал в интернете: “У женской поэзии было два крыла – Ахматова и Цветаева. Теперь появилось третье – Друнина”.

### **Чужой кровью о своей боли**

Второй участник схватки – Светлана Алексиевич. Рождённая после войны, Алексиевич в боевых действиях, естественно, не участвовала. Но военная тематика оказалась ей близка. Потому, наверное, что фашистское нашествие основательно пощипало семьи близких. Одиннадцать родственников вместе с детьми немцы сожгли заживо: кого – в своей хате, кого – в деревенской церкви. А ещё потому, конечно, что военно-патриотическая тематика на документальной основе, став модной, приносила в те годы быстрые и довольно ощутимые материальные и моральные дивиденды. Тут и коллективный труд “Я – из огненной деревни”, в котором главную скрипку играл Алесь Адамович, а позднее – “Блокадная книга” Даниила Гранина и Алеся Адамовича. Чужая слава вдохновляет, а проторённый путь помогает держать курс.

Зная о войне по книгам, фильмам и рассказам очевидцев, Алексиевич вдруг обнаружила, что в нестройном хоре воспоминаний о фронтовой жизни слишком много официоза, напыщенности, помпезности, общих мест. Из книги “У войны не женское лицо”: “Всякий раз меня поражало это недоверие к простому и человеческому, это желание подменить жизнь идеалом. Обыкновенное тепло – холодным сиянием”. Потому решила не просто показать бытие как оно есть, а “женскую” правду о войне, которая не чета превалирующей у нас мужской, потому что женщина многое воспринимает по-своему, не так, как мужчина. Читаем там же: “Мы все в плену мужских представлений и мужских ощущений войны. Мужских слов. А женщины молчат... Но почему, – не раз спрашивала я себя. – Почему, отстояв своё место в когда-то абсолютно мужском мире, женщины не отстояли свою историю? Свои слова и свои чувства? Не поверили сами себе? От нас скрыт целый мир. Их война осталась неизвестной...” Намерения нанизываются одно на другое, как шамплек на шампур. Многообещающие намерения.

“Написать женскую правду о войне... Писать правду о жизни и смерти вообще, а не только правду о войне...” С одной стороны, исследовать “конкретного человека, живущего в конкретное время и участвовавшего в конкретных

событиях. А с другой стороны, мне надо разглядеть в нём вечного человека. Дрожание вечности”.

А теперь посмотрим, какое “дрожание вечности” Алексиевич рассмотрела, обнаружив свой труд “У войны не женское лицо”. Партизанский отряд попал в окружение. Кругом немцы с собаками. Спасают болота, люди стоят по горло в воде. Среди партизан – радистка с грудным ребёнком. Голодный, он плачет: молока у матери нет. Каратели рядом... С собаками. Если овчарки услышат, то отряд погибнет. Командир принимает решение: “Никто не решается передать матери приказ, но она сама догадывается. Опускает свёрток с ребёнком в воду и долго там держит... Ребёнок больше не кричит... Ни звука...”

Каратели подожгли деревню. Спаслись немногие, убежав в лес и не сумев прихватить еды. Среди них женщина с пятью детьми, которая ночью била свою девочку, потому что она всё время плакала. Девочка самая слабенькая. Она всегда болела. И четыре мальчика, все маленькие, и все тоже просили есть... Женщина сошла с ума. “А ночью было слышно, как девочка просила: “Мамочка, ты меня не топи. Я не буду... Больше есточки просить у тебя не буду. Не буду... Утром девочку уже никто не увидел...”

Человеческая жизнь после войны ничего не стоила: “Еду после работы в автобусе, вдруг начались крики: “Держите вора! Держите вора!..” Автобус остановился... Сразу – толкучка. Молодой офицер выводит на улицу мальчишку, кладёт его руку себе на колено и – бах! Ломает её пополам. Вскрикивает назад. И мы едем...”

Читаешь, и кажется, что тебя пригласили на обед, но про сами блюда забыли, подменив их острейшими специями. И подмена эта намеренная, потому что для автора, по её утверждению, боль, страдание есть высшая форма информации, “имеющая связь с тайной. С таинством жизни”. Итак, в исполнении Алексиевич, чем больше страдания, тем больше “правды жизни”. Запомним это.

У Друниной иные принципы. Медсестра Друнина, сражаясь на передовой, не раз попадала в переделки. Литератор Друнина если и вспоминает о них, то скупой, в основном, в прозе. О некоторых уже было рассказано. Вот ещё две очень неординарные ситуации. В отбитом эстонском Тарту случилось с ней необычное во фронтовой обстановке происшествие – ухитрилась попасть “на губу”.

Не сложились у старшины отношения с командиром санвзвода, которого иронично называла Палеодором (так он переименовал слово “тореадор”) и публично говорила о трусости непосредственного начальника:

“Передовая надёжно защищала меня от в общем-то вполне объяснимой неприязни “Палеодора”.

Однако, когда я пришла в санвзвод, чтобы отмыться и отоспаться, фельдшер вдруг приказал мне немедленно отправляться обратно в батареи.

– Зачем? – спросила я с недоумением. – Ведь ясно, что до света боя не будет, а утром вы меня и не удержите.

– А затем, – сухо ответил комсанвзвода, – чтобы перевязать там у одного заряжающего чирей. Выполняйте!

Приказ был явно издевательским, я измотана до предела, нервы натянуты – слово за слово, и вот в ответ на какое-то оскорбительное замечание схватила из кобуры ТТ.

“Палеодора” как ветром сдуло. Побежал жаловаться начальству. И действительно ЧП – солдат угрожает офицеру оружием!

Возвратился он в сопровождении адъютанта командира полка. Вид у добродушного толстяка-адъютанта был смущённый. Ему приказали посадить меня на гауптвахту. Неприятное поручение, да и где её здесь взять – эту гауптвахту?..

Мы долго ходили по расположению нашего “хозяйства” из одного дома в другой – все они были набиты до отказа. И всюду меня встречали радостными возгласами: “Здравствуй, сестрёнка! Какими судьбами?” Я смущённо объясняла – какими... Наступало удивлённое молчание, потом раздавались реплики отнюдь не в пользу фельдшера и адъютанта. Мы следовали дальше. Наконец, нашли полуподвал, куда можно было кое-как втиснуться. Раздражённо бросив фельдшеру: “Стерегите её сами!” – адъютант ушёл.

Я растянулась на полу, мой страж – рядом, и, едва успев заметить, что он положил себе под голову портупю с пистолетом, провалилась в глубокий тяжёлый сон.

Мне приснилось, что над головой на бреющем, с воем проносятся “мессеры”.

А проснулась — сон в руку: прямо надо мной свистят осколки.

Очнулась окончательно и поняла — нет, это не бомбежка, а артобстрел, причём лупят прицельно по нашему дому. Снаряды рвутся под окнами, я же лежу в “мёртвом пространстве” — как бы под аркой из вылетающих в оконные проёмы осколков.

В помещении уже никого нет. Ничего не соображающие со сна люди убежали, даже не разбудив меня.

А рядом валяется фельдшерский пистолет. Прихватываю его и выскакиваю, выждав удобный момент, на улицу.

Теперь я могу отплатить фельдшеру с лихвой — стоит только отнести в штаб его ТТ. Бросить оружие!

Но я никому не рассказала об этом, пожалела человека. За подобную “забывчивость” можно и в штрафную загнать. . .

Зато и фельдшер замял дело “об угрозе пистолетом офицеру”.

Согласитесь, налицо “женская” правда о войне без газетной шелухи, да такая, что круче некуда. Ситуацию можно было бы развернуть на целую повесть. Не развернула. Ни в одном стихотворении не упомянула.

Гражданка Алексиевич, напротив, собирает и выкладывает на литературное блюдо всё остренькое, что было не с ней. Фронтовик Друнина осознанно не бравировает тем, что пережила лично. Складывается впечатление, что обе пишут кровью. Друнина — своей. Алексиевич, ухмыляясь, — чужой.

Друнина внесла в поэзию о войне дух и принципы сестры милосердия, для которой важно не разбередить рану, не обнажить боль, а унять, успокоить её. Главное — не навредить! Её душа, опалённая фронтом, действительно воспринимает мир по-другому:

*Для меня не беда — беда,  
Потому что за мной — война.  
Потому что за мной встанёт  
Тех — убитых — мальчишек взвод.*

Эта же мысль пронзительно звучит и в стихотворении “Бинты”, в котором опытная наставница учит одним движеньем срывать с раненого запекшиеся повязки. Друниной доставалось от фельдшера за то, что она без меры лила на бинты перекись водорода, чтобы отмочить их, снять без боли.

*“Так с каждым церемониться — беда.  
Да и ему лишь прибавляешь муки”.  
Но раненые метили всегда  
Попасть в мои медлительные руки.*

И вывод:

*Не надо рвать приросшие бинты,  
Когда их можно снять почти без боли.*

Вот почему поэзия Друниной крайне скупа на душераздирающие сцены. Она часто лишь обозначает их, не разворачивая на всю ширину кадра. Да, обозначает талантливо, мастерски, но — чрезвычайно сдержанно. Её стихи похожи на исповедь, на молитву. Она, медсестра, будто ползёт по жизненно-му полю, подбирая всех, кто искалечен судьбой, обстоятельствами, где волоком, где с помощью подручных средств доставляя в безопасное место, чтобы привести в чувство добрым душевным словом. Не словом знахарки, а словом знатока, нахлебавшегося фронтового лиха человека. Это очень отчётливо обнаруживается, когда сравниваешь, сводишь стихи Друниной и документальную поэзию Алексиевич, что называется, лоб в лоб.

**Друнина:**

*Я только раз видала рукопашный.  
Раз — наяву. И сотни раз — во сне.*

*Кто говорит, что на войне не страшно,  
Тот ничего не знает о войне...*

**Алексиевич:**

“В рукопашной была... Это ужас... Это не для человека... Бьют, колют штыком, душат за горло друг друга. Ломают кости. Вой стоит, крик. Стон. И этот хруст... Этот хруст! Его не забыть. Хруст костей... Ты слышишь, как череп трещит. Раскалывается... Для войны это и то кошмар, ничего человеческого там нет. Никому не поверю, если скажет, что на войне не страшно”.

**Друнина:**

*Шли добровольцами юнцы  
Туда, где смерть даёт медали.  
Тогда казнённые отцы  
На подвиг нас благословляли...*

**Алексиевич:**

“До войны у неё всю семью репрессировали: отца, мать и двоих старших братьев. Она жила с тётей, маминой сестрой. С первых дней войны искала партизан. В отряде видели, что она на рожон лезла... Хотела доказать... Всех награждали... а её — ни разу. Медали не дали, потому что родители — враги народа. Перед самым приходом нашей армии ей ногу оторвало. Я навещил её в госпитале... Она плакала... Но теперь, — говорила, — мне все поверят...”.

**Друнина** (комбат застрелил двух струсивших в бою солдат):

*Упали парни, ткнувшись в землю грудью,  
А он, шатаясь, побежал вперёд,  
За этих двух его лишь тот осудит,  
Кто никогда не шёл на пулемёт.  
Потом, в землянке полкового штаба,  
Бумаги молча взяв у старшины,  
Писал комбат двум бедным русским бабам,  
Что... смертью храбрых пали их сыны.*

**Алексиевич:**

“Через несколько дней, когда на нас пошли танки, двое струсили. Они побежали... И вся цепь дрогнула... Погибло много наших товарищей. Раненые, которых я стащила в воронку, попали в плен. За ними должна была прийти машина... А когда эти двое струсили, началась паника. И раненых бросили. Мы пришли потом на то место, где они лежали: кто — с выколотыми глазами, кто — с животом распоротым... Я, как это увидела, за ночь почернела. Это же я их в одно место собрала... Я... Мне так сильно страшно стало...”

“Утром построили весь батальон, вывели этих трусов, поставили впереди. Зачитали, что расстрел им. И надо семь человек, чтобы привести приговор в исполнение. Три человека вышли, остальные стоят. Я взяла автомат и вышла. Как я вышла... Девчонка... Все за мной... Нельзя было их простить. Из-за них такие ребята погибли!”

Подобных параллелей можно было бы провести десятки. Намёк, надеюсь, каждому понятен. Рассказывая о самых сложных перипетиях, Друнина рассказывает за здравие, а Алексиевич (по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление) — за упокой. Друнина никогда не кичилась фронтовой жизнью. Алексиевич ставит себе в доблесть даже сбор материалов о войне.

**Друнина:**

*Нет, это не заслуга, а удача —  
Стать девушке солдатом на войне.  
Когда б сложилась жизнь моя иначе,  
Как в День Победы стыдно было б мне!*

### **Алексиевич:**

“Долго сижу в незнакомом доме или квартире, иногда целый день. Пью чай, примеряю недавно купленные кофточки, обсуждаем причёски и кулинарные рецепты. Рассматриваем вместе фотографии внуков. И вот тогда... Через какое-то время, никогда не узнаешь, через какое и почему, вдруг наступает тот долгожданный момент, когда человек отходит от канона — гипсового и железобетонного, как наши памятники — и идёт к себе. В себя. Начинает вспоминать не войну, а свою молодость. Кусок своей жизни... Надо поймать этот момент. Не пропустить! Но часто после длинного дня, заполненного словами, фактами, слезами, остаётся в памяти только одна фраза (но какая!): “Я такая маленькая пошла на фронт, что за войну даже подросла”. Её и оставляю в записной книжке, хотя на магнитофоне накручены десятки метров. Четыре-пять кассет...”

### **Вот и вся любовь**

Мы подходим к самому главному: ради чего всё это написано. Трагическая нота свойственна поэзии Друниной, но она не стремится вгонять читателя в депрессию, старается лишней раз не беречь глубокие незаживающие фронтовые раны. Потому что во время фашистского нашествия было достигнуто очень важное условие победы — единство общества. Каждый был в строю, каждый чувствовал себя участником борьбы за правое дело. Как, впрочем, и автор этих строк:

*И за то, что снова до утра  
Смерть ползти со мною будет рядом.  
Мимоходом: — Молодец, сестра! —  
Крикнут мне товарищи в награду.  
Да ещё сияющий комбат  
Руки мне протянет после боя:  
— Старшина, родная, как я рад,  
Что опять осталась ты живою!*

Позади полные драматизма годы. Позади огромные потери, победный меч ковали все. Борьба за правое дело объединила правых и виноватых, левых и правых. И Друниной очень не хотелось одним неловким, не ко времени сказанным словом бросить тень на это единство, усомниться в его естественности, хотя о проблемах страны она знала не понаслышке. Она чувствовала и модные веяния в литературной и общественной жизни, противостояла им всем своим существом:

*Аудитория жаждет сенсаций,  
А я их, признаться, боюсь, как огня,  
Ни громких романов, ни громких оваций  
Не было у меня.  
Но если меня бы расспрашивал Некто:  
Чем я как поэт в своей жизни горда?  
Ответила б: “Тем лишь, что ради эффекта  
Ни строчки не сделала никогда”.*

Иными словами, Друнина не шла на поводу у прихотей времени, оставалась самой собой. А Алексиевич нужен был эффект, нужна была сенсация. Надо было с помощью особой стилистики доказать существование какого-то особого человека, особого героя, которого она не просто любит — восхищается им. Но уже в первых изданиях книги изначально пробивались странные признаки этой любви: “Кто они — русские или советские? Нет, они были советские — и русские, и белорусы, и украинцы, и таджики... Всё-таки был он, советский человек. Таких людей, я думаю, больше никогда не будет, они сами это уже понимают. Даже мы, их дети, другие. Хотели бы быть, как все. Похожими не на своих родителей, а на мир. А что говорить о внуках...”

Ключевая фраза вот эта: “хотели бы быть, как все”. То есть развела человечество по разные стороны баррикады. По одну — “всех”. По другую — наших

отцов, дедов и прадедов. Для неё не важно, что в категорию “как все” вошли французы, сдавшие страну на милость фашистам. Что среди “всех” — Эльза Кох, которая пускала на абажуры кожу узников концлагерей, отчего получила кличку фрау Абажур. Что сюда попали американцы, сбросившие атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки и за считанные секунды уничтожившие десятки тысяч ни в чём не повинных граждан. Что тут же японцы, отличавшиеся особой жестокостью и погубившие ни за что ни про что миллионы китайцев.

Потому что по Алексеевич получается, что наши предки и мы — много страшнее “всех”. Она констатирует: “Мы имеем дело с русским человеком, который за последние 200 лет почти 150 лет воевал. И никогда не жил хорошо. Человеческая жизнь для него ничего не стоит, и понятие о великости не в том, что человек должен жить хорошо, а в том, что государство должно быть большое и нашпигованное ракетами. На этом огромном постсоветском пространстве, особенно в России и Беларуси, где народ вначале 70 лет обманывали, потом ещё 20 лет грабили, выросли очень агрессивные и опасные для мира люди...”  
Вот и вся любовь. Вот и всё “дрожание вечности”.

Выходит, госпожа нас обманула, наобещав и того, и другого, и пятого, и десятого. На самом деле взялась Алексеевич за “женский” взгляд на войну с определённой целью — дискредитировать Победу. Потому-то безжалостно и осатанело срывает бинты со всех ещё кровоточащих ран, потому-то и прибегает к натурализму, чтобы показать, что есть на свете ужасная страна, которая воспитывала и воспитывает настоящих зомби. Для них, зомби, в любой самой невероятной ситуации ничего не стоит расстаться с жизнью. И в этом смысле женщины не отличаются от мужчин, как, впрочем, не отличаются от них старики и дети. “В школьной библиотеке — половина книг о войне. И в сельской, в райцентре, куда отец часто ездил за книгами. Теперь у меня есть ответ — почему. Разве случайно? Мы всё время воевали или готовились к войне. Вспоминали о том, как воевали. Никогда не жили иначе, наверное, и не умеем. Не представляем, как жить по-другому. Этому нам надо будет когда-нибудь долго учиться. В школе нас учили любить смерть”.

Мы “всё время воевали”, или нас заставляли воевать то шведы, то французы, то англичане, то немцы? Для Алексеевич такая постановка вопроса тоже в принципе невозможна. Виноваты мы, зомби. Правда, она жеманно заявляет: “За семьдесят с лишним лет в лаборатории марксизма-ленинизма вывели отдельный человеческий тип — homo soveticus. Одни считают, что это трагический персонаж, другие называют его „совком“. Мне кажется, я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я рядом с ним, бок о бок, прожила много лет. Он — это я. Это мои знакомые, друзья, родители”. Но это именно жеманство, лукавая оговорка, стремление продемонстрировать объективность. А в принципе не в марксизме-ленинизме дело. Страна зомби воспитывала зомби, бездушных киборгов в прошлом. Им не до высоких материй... Свобода, Отечество, независимость... Им бы только напиться кровушки. Страна зомби воспитывает такое же поколение и сейчас: “Вчера я шла по Бродвею — и там видно, что каждый — личность. А идёшь по Минску, Москве — ты видишь, что идёт народное тело. Общее. Да, они переоделись в другую одежду, они ездят на новых машинах, но только они услышали боевой клич от Путина: “Великая Россия!” — и снова это народное тело...”

Господи, как всё старо! Вспомнилась сцена из комедии “Бригадир” Дениса Фонвизина, написанная в 1769 году:

**“Советница:** Ах, сколь счастлива дочь наша! Она идёт за того, который был в Париже. Ах, радость моя! Я довольно знаю, каково жить с тем мужем, который в Париже не был...”

“Я строю храмы из наших чувств”, — высокопарно заявляет Алексеевич. Что-то они, эти храмы, больно напоминают конюшни, загоны для скота. Очень уж хочется госпоже Алексеевич загнать в них героев Друниной. Вот эту девчущку, например:

*По улице Горького — что за походка! —  
Красотка плывёт, как под парусом лодка,  
А в сумке “модерной” врпитурку лежат  
Пельмени, Есенин, рабочий халат.*



Алексиевич много внимания уделила тому, как её встречают пожилые собеседники, как ведут себя во время интервью, как провожают. “Да, – признаётся она, они много плачут. Кричат. После моего ухода глотают сердечные таблетки. Вызывают “скорую”. Но всё равно просят: ты приходи. Обязательно приходи”.

Не сомневаюсь, приглашали. Потому что не знали, что доводит их до сердечных приступов человек с камнем за пазухой. Что, лисовато улыбаясь, докапывается этот человек до “особой” правды, чтобы показать: её собеседники, их дети и внуки – зомби. Что Алексиевич, лет 15 “поскитавшаяся” по странам Запада, сделает вот такой вывод: “в России и Беларуси выросли очень агрессивные и опасные для мира люди...” Что на Западе русофобы всех мастей с удовольствием растиражируют это открытие, превознося автора за то, что будто ради истины Алексиевич не пощадила погибших в войну родных и близких.

### **За явным преимуществом**

Итог трагической схватки известен: поэтесса Юлия Друнина долго жила надеждами спасти страну от распада, а когда не удалось, ушла вместе с ней.

*Ухожу, нету сил.  
Лишь издали  
(Всё ж крещёная!)  
Помолюсь  
За таких вот, как вы, —  
За избранных  
Удержат над обрывом Русь.*

Она опровергла, таким образом, своё утверждение о том, будто “теперь не умирают от любви”. Умирают, если любовь настоящая, а не приключения в катафалке, направляющемся к храму, – на венчание.

Наградой Алексиевич стала присуждённая ей в 2015 году Нобелевская премия по литературе “за её многоголосное творчество – памятник страдания и мужеству в наше время”. Многоголосное это творчество включает несколько книг с многозначительным заголовком “Голоса утопии” и неизменным методом написания. Даже предводитель эстетствующей публики либерального толка Дмитрий Быков признал: “Искать в её сочинениях эстетические откровения – занятие странное”, – отметив интерес Нобелевского комитета к социальной значимости текста. Написать “политической” духу не хватило. А он, “социально значимый текст”, чем ближе к концу книги, тем ошутимей. Перестраивалась на ходу.

Выходит, схватку поэт-фронтовик Юлия Друнина начисто проиграла циничной труженице пера?

Про-иг-ра-ла?

Написать, что у Алексиевич нет читателей, значит написать неправду. Есть. Их много. Из тех, кому безразлично, что читать, лишь бы “чернуху”. Но даже Дмитрий Быков вынужден был нехотя признать: “Стихи Друниной могли быть просты, а иногда банальны, но они – шедевры искренности и человечности на фоне того, что пишут сегодня”.

Поправим Быкова: шедевры всегда просты (“я только раз видала рукопашный”). Мы отдаляемся от Друниной, заявляет Дмитрий Быков. Он прав: отдалились. А теперь приближаемся снова. Крымские астрономы Юлия и Николай Черных назвали одну из далёких планет Галактики именем поэтессы. Самое же главное вот в чём. Посмотрите, сколько соотечественников в День Великой Победы ежегодно вливается в рождённое в глубине народных масс шествие “Бессмертный полк”, которое стало явлением международного масштаба! Вряд ли кто скажет, что это шагают почитатели Алексиевич. Это идут почитатели Друниной, которая ощущала себя связной между прошлым и будущим. И становится понятно, что и этот, последний в своей жизни, бой Друнина всё-таки выиграла.

Выиграла – за явным преимуществом. Гражданским. Нравственным.